

Глеб Иванович Успенский

Из памятной книжки



Глеб Успенский

Из памятной книжки

«Public Domain»

1875

Успенский Г. И.

Из памятной книжки / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1875

«...Два очерка под общим названием «Из памятной книжки», в которых отразились размышления, вызванные поездкой за границу, попали на страницы «Русских ведомостей», откуда впоследствии они Успенским не перепечатывались. Первый очерк («Там знают») посвящен впечатлениям от посещения Успенским Парижа и Лондона во время второй поездки писателя за границу, в январе – августе 1875 года. Давая острокритические зарисовки капиталистического Запада, Успенский в эпилоге набрасывает сатирическую картинку возвращения русского путешественника на родину и его столкновения с господствующими здесь чиновничье-полицейскими порядками. Во втором очерке в центре внимания писателя находится тот же самый тип русского интеллигента «среднего образа мыслей», что и в очерках «Неплательщики» и «Больная совесть». Писатель разоблачает здесь ту часть интеллигенции, которая в эпоху реакции 70-х годов отказывалась от демократических идей, предпочитая им высокие оклады и выгодные места на службе у концессионеров и финансистов. ...»

© Успенский Г. И., 1875

© Public Domain, 1875

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Глеб Иванович Успенский

Из памятной книжки

I

Там знают

...Еду и сплю...

Быстро, легко и плавно несется уютный вагой по прусским рельсам; унылый перезвон колоколов, напоминающий благовест в бедный колокол бедной сельской церкви, дает знать, в легких просонках, что мы на станции. Но тело так устало от долгого пути, что не хочется поднять головы от подушки, чтобы взглянуть в окно, посмотреть на местность, на народ; еле-еле подумаешь про себя «станция, мол», перевернешься на другой бок, и дремота тотчас снова овладевает сознанием; чуть-чуть ощущаешь, что поезд тронулся, и опять спишь. Долго так ехал я и спал.

Вдруг... среди полного покоя и забытья что-то словно ножом ударило и в мозг и в сердце... ударило так больно, что я мгновенно вскочил с покойного дивана и долго не мог понять, что это со мной и отчего это? А между тем что-то больное, ноющее бежало по телу с самых подошв и подступало к груди, точь-в-точь как во время морской качки, когда пароход с высокой волны вдруг упадет куда-то низко-низко.

В моем сердце тоже что-то сорвалось и падало низко-низко... «Что это такое? Отчего? Что мне вспомнилось, что приснилось?» – допытывался я у самого себя и сразу не мог ничего сообразить, – я только смутно сознавал одно... через шесть часов опять буду дома... «Нет, не может быть! – решал я. – Два-три дня тому назад я так хотел вернуться домой, мне так стало скучно за границей... Нет!.. Не от этого!»

Но странное дело! В следующую за таким решением минуту сердце падало куда-то еще ниже, ушибалось обо что-то еще больней, и – увы! – всякий раз эти очень больные ушибы неразрывно связывались с сознанием, что вот через шесть часов буду дома, и опять... При слове «опять» мысль прерывалась в мозгу и продолжалась тупой болью в сердце.

Да – «опять»!

При всем моем желании и усилии как-нибудь иначе растолковать себе мое внезапное пробуждение из спокойной дремоты я с каждой минутой должен был убеждаться, что я испугался именно того, что через шесть часов буду дома, что только шесть часов осталось мне до того, когда начнется «опять»... Душной и темной тучей неслись на меня, с каждой секундой все ближе и ближе, забытые мною родные пустыки и воскрешали, всею массой своею, сливаясь в одном мучительном представлении «опять», – забытую боль, от которой я и скитался на чужбине, которую забыл там и которая, – вот теперь, – так и захватывает грудь... Чуть-чуть приподымет, и ниже, и еще ниже, и еще и еще ниже... А сердце то отпустит, то стиснет, – стиснет, словно клещами... Господи! – думалось мне, – да куда же девалась моя недавняя радость при мысли о возвращении? Отчего дня три тому назад не было и тени той жути, какая обуяла меня теперь? Было что-то другое, грустное, но не жуткое, не неопределенно-мучительное, не такое тупое и не невыносимое... Мне хотелось воспоминанием этого недавнего подавить мои теперешние нервные тревоги... Я уже не дремал; я напряженно чувствовал что-то тревожное, приближающееся все ближе – «вот-вот» с каждой минутой... Тревожно и беспорядочно в то же время припоминалось многое недавнее... Припоминалось, быстро сменяясь новым, так же быстро улетающим прочь.

... Море. Ночь. Вдали чуть виднеются два огонька.

Пароход, наполненный молчаливыми матросами, молчаливыми пассажирами, то перекачиваясь через высокие волны, то глубоко погружаясь в водяные овраги, ровно и однообразно стучит своей машиной и бежит вперед, навстречу к этим двум огонькам. Черная, широкая, густая и длинная-длинная полоса дыма стелется над ним в темной вышине, спускаясь дальним блекнувшим хвостом к светлой полосе воды.

Скромные огоньки все ближе и ближе. Это – Англия... Когда я вспомнил, что за величественными тверскими Триумфальными воротами начинается с одной стороны только Тверская улица, ничем, кроме калашника Филиппова, не замечательная, а с другой стороны – чистое поле, изредка пересекаемое пьяными тройками; когда я вспомнил, что в Туле, в Калуге, в Козьмодемьянске и в тысяче других великих и малых захолустий моего отечества, при въезде в город, стоят тоже триумфальные из кирпича арки, – когда, повторяю, я вспомнил эти грандиозные преддверия к чистому полю, то скромные огоньки, обозначающие место, откуда начинается не пустое место вроде Калуги или Балахны, а Англия – Англия, господа, – то эти огоньки произвели на меня самое хорошее, светлое впечатление простоты...

Мне, кажется, что именно эти два огонька, кажущиеся издали такими маленькими, скромными, поселили во мне то впечатление «простоты», с которым я, наконец, рано утром подъезжал к голым английским берегам. Благодаря этому ощущению, сойдя с парохода на берег, я чувствовал то же, что чувствуешь, знакомясь с самым искренним, самым «простым» человеком, который хоть и неуклюж, и некрасив, и груб, но дорог тем, что не солжет на маково зерно, не прихвастнет на булавочную головку, а уж что скажет или сделает, то это будет *всегда* искренно, а главное, необыкновенно «просто».

Почему бы ни родилось у меня это ощущение, но оно с каждой минутой, с каждым шагом укреплялось во мне. Все, что ни встречал глаз, все было понятно, а стало быть, и очень просто. Необыкновенно простым и понятным казалась эта масса рельс, масса поездов, дымом пропитанный воздух... С бешеною быстротою летел наш поезд, то проносясь над множеством других поездов, нырявших под него и справа и слева, то сам ныряя под летевшие над ним поезда, то обгоняя, то мчась навстречу... Завизжало что-то справа, точно кошка, прищемленная впотьмах, – глядь, пронесся экспресс; вдребезги разбилось что-то слева, – и другой бешеный поезд пронесся, как молния, – и все это битком набито народом, стало быть, спешит, потому, что за поездом бежит другой, тоже полнехонек; всё это мчится, потому что везет, потому что доверху навалено, наполнено, – а стало быть, все это нужно где-то, а стало быть, надо нырять в туннель, – потому что на земле нет места, стало быть, надо строить дорогу в воздухе, потому что нет места под землею. Это вовсе не то, что делается на Коломенско-индийской железной дороге, где пустой поезд «обязательно» два раза в сутки приносит Обществу «чистый» убыток в несколько тысяч рублей, с скоростью сорок верст в час. Это вовсе не те рельсы, не те вагоны, которые, как на Московско-индийской дороге¹, приготовлены раньше, нежели готово то, что надо возить по ним. Я не понимаю, зачем Московско-индийская дорога завела себя на белом свете, потому что она только жрет без всякой пользы не принадлежащий ей труд и, несомненно, скоро будет размыта дождями и засыпана снегами; я не понимаю, зачем эта дорога, которая ничего и никого не возит, сумела уже убить третью часть своих пассажиров, убить до смерти, тогда как без нее они бы благополучно доплелись до Киева, к святым мощам; убить троих из шести, убить в чистом поле, на просторе, где навстречу летит только ветер да снег! Я не понимаю тут ничего ровно, – а там, где едут – потому что везут, где спешат – потому что надо скоро поспеть, где бьют людей – потому что страшно тесно, – тут я все понимаю. Это всё так просто...

Но проще самого Лондона едва ли есть что-нибудь на белом свете...

¹ Коломенско-индийская, Московско-индийская ж. д. – названия вымышленные, намекающие на стремление русской буржуазии к новым рынкам, на восток.

В Белебее, где три человека жителей, на имеющей быть там станции железной дороги, на которую, с обязательно убыток приносящими поездами, будет приезжать один пассажир раз в неделю – этот пассажир будет буквально разорван на той же станции от толкотни и давки. Это произойдет оттого, что, во-первых, дорога будет проведена мимо Белебея без всякого к этому основания, во-вторых, потому, что вследствие неосновательности в самом корне дела, голодающие жители, – трое всего-навсего, – получают также ни на чем не основанные надежды обогатиться от этой дороги, и так как, в-третьих, пассажир, на которого рассчитывают эти три человека, – только один и притом появляется раз в неделю, то, не желая обмануться в своих ожиданиях, три белебейских жителя должны стараться захватить его в свои руки и, следовательно, рвать его, этого пассажира, на части, на три части. Один отнимет у него из рук мешок, другой будет тащить за рукав, третий прямо возьмет в охапку и потащит в свои сани. Остается драться, колотить направо и налево и изрыгать самые скверные выражения... Давка и толкотня возможны также, например, во время крестного хода от Никиты к Знаменью; в ходе участвуют всего человек сто, весьма удобно размещающихся на площади, большой и широкой. Но если среди пения многолетий и духовных песен, в то самое время, когда сто человек заняты молитвой, в самую середину их впятится зад жандармской лошади, ежеминутно угрожающей ударить молящихся «задом», – то и на полном просторе может произойти свалка и смертоубийство, так как и в первом, и во втором, и в несчетном множестве других белебеевских случаев такого же сорта – в самом корне их лежит отсутствие причин, доступных пониманию.

Но там, где жителей не три человека, а три миллиона, давки и толкотни нет. Рыбе тесно только в садке (Белебей), а не в реке (Лондон).

Я знаю, что в реке ходит щука и ест карася, знаю, что и щуку также плочает какая-нибудь другая рыбища, беспомощное и беззащитное состояние всего, что есть слабого в речной глубине, перед аппетитами всего, что есть там сильного, – знаю я это и содрогаюсь перед простотой рокового закона, но предпочитать этому ужасному естественному закону белебеевское благополучие рыбного садка не могу.

Без давки, без толкотни приняла широкая река Лондона сразу несколько тысяч народу и поглотила его, не рассчитывающего ни на что, кроме того же ужасного и простого закона. Понесла она и меня по своим бесконечным улицам, и с каждым часом все нагляднее выяснялось мое первое впечатление – простоты. Лондон – такая простая и ясная вещь, как приходо-расходная книга, как таблицы выигрышей, как простые первые правила арифметики... Представьте себе первый столбец в таблице выигрышей какой-нибудь лотереи. Длинной вереницей идут сотня, а может, и две выигрышей, положим, по тысяче рублей – цифра 1000 написана одна над одной двести раз, – вот вам лондонская улица состоятельных людей; – дома одного роста, одинаковой архитектуры, с одинаковой дверью, с одинаковыми окнами – словом, так же похожи они друг на друга, как одна цифрами написанная тысяча на другую такую же тысячу; а вот десять, двадцать, сто – бесконечное число столбцов, где вместо цифры 1000 написана цифра самая маленькая, например 10. Представьте себе, что эта однообразная цифра тянется на бесконечное число столбцов, одна под другой, одним и тем же шрифтом, – и перед вами будут бесконечные улицы, кварталы, океаны даже, засыпанные людом, у которого в руках очень маленький выигрыш и который живет в домиках, – количество их беспредельно, – стоящих рядом друг с другом на бесконечное пространство во все стороны и похожих между собою цветом, ростом, архитектурой, попыткой иметь садик – словом, решительно всем, что производит впечатление на глаз, похожих, как одна цифра на другую точь-в-точь такую же... Более двадцати минут поезд несется как-то над крышами этих домишек с народом, сумевшим отводить себе малый выигрыш, – и как иной раз перед маленькими выигрышами ставят скобку и пишут сразу – по столько-то, ну, хоть по целковому, – увы, и вы, глядя на этот океан человеческих нор, поразительное однообразие которых дает вам знать, что выигрыши тут тоже одинаковы, – ставите надо всем скобку и говорите: это – «бедность»; а вот там тоже можно поставить

другую скобку и смело сказать – «богатство»... Вычитайте этот маленький рост этих домиков из громадного роста домов капиталистического Лондона – и получится, тем самым путем, как получается при вычитании обыкновенных цифр, остаток – и такой громадный остаток – в пользу больших выигрышей, что вы как на ладони увидите, сколько этим малым нужно лет, смертей, трудов, терпения, чтобы приподнять свой домишко на вершок.

Всматриваясь в этот однообразный океан домов, в которых живет Лондон силы и труда, в эти однообразнейшие и суровейшего вида дворцы и в эти еще более суровейшие и однообразнейшие жилища людей с малыми выигрышами, – видишь, что хотя там и тут они все похожи друг на друга, но не тянутся такую сплошной вереницей, как дома новой французской постройки, а норовят хоть на вершок отодвинуться друг от дружки. Все бесчисленные домики бедного люда тоже отпихиваются друг от друга, и если где придется двум жильям от тесноты вплотную сойтись друг с другом, то крыша над ними непременно разделена надвое и как будто говорит, что «тут, мол, два дома, а не один; – пожалуйста, не думайте, что мы живем вместе». Это стремление жить в одиночку, вместе с тем вычитанием бедности из богатства, которое невольно делаете вы при общем взгляде на кварталы богатые и бедные, делает борьбу за жизнь, происходящую в этом океане-городе, еще более ясною, осязаемою. Каждый крепко держится за то, что отвоевал мечом, – схватил сильной лапой, выстрадал, вымучил кровавыми трудами. Страшно, но видно и понятно. Вот сила кармана, породы; вот бедность, бессилие, – кто кого? Гляди, как по цифрам выходит... выходит страшно, но понятно, потому что вот тут много, а тут мало, – стало быть, иначе и нельзя.

Вот беглые мимолетные впечатления человека, на минуту взглянувшего на этот удивительный город. Несколько мелочей, о которых можно бы и не упоминать, упоминаются потому только, что подтверждают в мелких подробностях общий строй этой жизни, бесцеремонную, жестокую правду, дела и поступков. Теперь любят обедать; – скажу хоть об этом, в лучшем ресторане на странде за пять шиллингов, то есть более чем за полтора рубля, ~– подают в обеде – как бы вы, любитель обедов думали, – сколько блюд? Одно, не считая, конечно, сыра. Одно блюдо, только! Ты пришел есть, ты голоден от этой нецеремонящейся жизни, – так вот ешь тоже без церемонии три раза одно и то же мясо – и будь сыт. Этого только и нужно; Некогда думать тут ни о каких приправах. И время дорого, да и есть надо действительно основательно. И ест человек, лондонский житель, одно и то же блюдо, пока не наестся... Знаменитый гринвичский обед², известный под именем «маленькой рыбки», – лучше всего докажет охотнику до знаменитой еды, что англичанин не в силах складно и хорошо лгать даже и в виде соуса. Рыба после его приготовления действительно пахнет точно так, как будто ее только что вынули из воды... Англичанин ничем не постарался отбить этого запаха... Но нужно отдать ему справедливость; он понял, что запах этот может дурно повлиять на ваш аппетит; и, чтобы поправить дело; придумал, начиная с десятого блюда (всех блюд в знаменитом обеде штук до двадцати, если не больше), посыпать свою пахучую рыбу перцем, да еще кайенским, от которого загорается и желудок и рот, – тут уж не до запаха, после такого обеда рыбой пахнет все кругом, и от этого запаха не отделаешься в трое суток,

Словом, все, – с чем только ни приходится сталкиваться случайному наблюдателю, заехавшему в Лондон, в Англию, – все поражает простотой, потому что держится видимой необходимостью, сложившеюся из видимых, понятных условий. Суровая действительность, обставленная этими условиями, глядит на вас в простоте архитектуры, заботящейся только о гнезде или о норе, за исключением, конечно, той аляповатой магазинной архитектуры, которая с своими бог весть что означающими амурами, мордами с разодранными улыбкою ртами, голыми женщинами, одна в одну, поддерживающими вывеску, зеркальными стеклами в три

² Гринвичский обед – обед из разнообразных рыбных блюд, которым славился один из ресторанов в местечке Гринвич (близ Лондона).

сажени и тому подобными атрибутами наживы денег, – только денег, – прошла и по Лондону точно в том виде, как и по Москве, и по Гороховой, и по Туле. Глядит эта действительность и в нищете, которая без всякой прикрасы разбросана повсюду, лезет в глаза в ужасающей грязи и лохмотьях, глядит в стремлении знать себя, в обеде – словом, во всем, что просто видишь, не входя в самую подноготную...

Но с полным уважением останавливаясь перед правдивостью всего, что видишь, чувствуешь однако, чувствуешь, что вся эта правда жестка и страшна...

И опять бежит пароход, увозя толпы народу из Англии. Ночь, дождь и ветер. По прежнему все, что ни едет на пароходе, – молчит, молча делает свое дело, стучит машина, и темная полоса дыма еще больше увеличивает темноту неба. Стоя на палубе, слушая шум воды, я думал о том, что видел, и хотя был глубоко рад этому виденному, как всему, что просто и неподдельно, но чувствовал, что эта простота, голая правда борьбы за существование, – страшна своей наготой, что у нас, на русской земле, она не так беспощадна, что у нас есть народ, который любит действовать не в одиночку, а «всем миром»: всем миром ложится под розги, всем миром горит, всем миром голодает... Припомнилось мне тут еще и то обстоятельство, что еще достаточно неизвестно, где скрывается настоящая-то сила, – в той курной русской избе, где хохочут и острят за обедом, состоящим из одних огурцов, или в хоромашах, откуда бегут куда глаза глядят, да еще иной раз прямо завидуют мужику... Эти черты припоминались мне после виденного с особенною приятностию, и я рад был вернуться домой...

.....

Опять куча огней на берегу. Это – Калэ. Начинается новая земля – Франция.

На пристани, прямо у сходней, положенных с парохода на берег, стоит целая толпа чиновников, и военных и статских, ярко освещенная сильным светом фонарей. Тут необходим сильный свет, – чиновникам надобно видеть физиономии; каждый проходящий пассажир на минуту должен остановиться, сказать чиновнику свою фамилию и профессию и идти своей дорогой. Запомнить такую кучу фамилий невозможно, они не записываются, и вот, благодаря этому, с первого шага на новую землю чувствуется что-то не то; тут придумано что-то, на первый взгляд – просто глупое. Но даже и узнав, что это придумано с известною целью, что, пропустив сотню-другую народу, чиновники остановятся на каком-нибудь подозрительном лице, которого физиономию они уже давно изучили, – даже зная и эту цель их, – чувствуешь, что тут есть какая-то примесь вздору...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.